

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

<...>

Июня 1.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моем комодe и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастьях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прекрасное выздоровление!

*В. Д.*

1

---

### I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П – го, в Т – й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка непрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, — дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П – й умер. Наследники отказали батюшке от

должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеюсь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Всё это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; всё было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, всё хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки всё не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смирно, тихо, пошевеливаться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Всё так сухо, неприветливо было, — гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на всё положенные, общий стол, скучные учителя — всё это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама всё думаю про домашний наш уголок, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что

гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспекает за мной, а я ей всё болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда — и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился всё мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; всё худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона — всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастья, всё, всё вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, — одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за всё отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Всё, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Ма-

тушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни ба-  
тюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила,  
что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем  
бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по  
силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнару-  
жила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятно-  
сти; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то  
она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике  
(так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с ма-  
тушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в  
ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспо-  
мощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка  
благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распо-  
рядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложе-  
ние мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы пе-  
ребирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осен-  
нее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно; грудь у  
меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски...  
Тяжкое было время.

.....  
.....

<...>

Сентября 3.

Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было  
тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной  
грустить, одной тосковать, без раздела, и такие минуты начинают находить на  
меня всё чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для  
меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по несколько часов бы-  
ваю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю всё, всё настоящее. И  
нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного,  
которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, и  
чаще всего мое детство, мое золотое детство! Но мне становится всегда тяжело  
после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя мечтательность изнуряет меня,  
а здоровье мое и без того всё хуже и хуже становится.

Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило  
меня, и я радостно его встретила. Итак, у нас уже осень! Как я любила осень в де-  
ревне! Я еще ребенком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я  
любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, бы-  
ло озеро. Это озеро, — я как будто вижу его теперь, — это озеро было такое ши-  
рокое, светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, — озеро покойно; на

деревях, что по берегу росли, не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят — тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё красными, огненными полосами, и эти полосы всё бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, — всё, бывало, слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет; всё как-то тонет в тумане, а вблизи так всё резко обточено, словно резцом обрезано, — лодка, берег, острова; бочка какая-нибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, — вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане. Я засматривалась, заслушивалась, — чудно хорошо было мне! А я еще была ребенок, дитя!..

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда всё становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синее, чернее, — особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того и гляди выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла; между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким пронзительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и всё застилается ими. Страшно станет, а тут, — точно как будто слышишь кого-то, — чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак щелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветок. Посмотришь в окно: морозом прохватило всё поле; тонкий, осенний иней повис на обнаженных сучьях; тонким, как лист, льдом подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают, как стекло, тонкий лед. Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет ми-

мо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы!.. Ах, какое золотое было детство мое!..

Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо всё припомнила, так ярко стало передо мною всё прошедшее, а настоящее так тускло, так темно!.. Чем это кончится, чем это всё кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень, очень больна. Я часто думаю о том, что умру, но всё бы мне не хотелось так умереть, — в здешней земле лежать. Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной; мне всё кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит; особенно когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очнусь от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам такое большое письмо написала; когда я пишу, это проходит. Прощайте: кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. Из вырученных денег за платья мои да за шляпку остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке два рубля серебром; это очень хорошо; она замолчит теперь на время.

Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте; я так устала; не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая; малейшее занятие меня утомляет. Случится работа — как работать? Вот это-то и убивает меня.

*В. Д.*  
(1; 27, 83 – 84)

## Варианты

(Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846)

*Стр. 1.*

*После:* а мне и ничего. – И зачем, бывало, бежишь далеко от селенья, гуляешь где-нибудь одна-одинёшенька, так что самые строжайшие приказания матушки не уходит одной и без позволения и ограничивать прогулку одним садом не останавливали меня?.. Я и сама не знала; я с детства любила быть в уединении, а между тем была страшная трусиха. Я помню, у нас в конце села была роща, густая, зелёная, тенистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимым гуляньем моим, а заходит в ней далеко я боялась. Там щебетали такие весёленькие пташки, деревья так приветливо шумели, так важно качали раскидистыми верхушками, кустики, обегавшие опушку, были такие хорошенькие, такие весёленькие, что, бывало, позабудешь запрещение, перебежишь лужайку как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазом моря зелени, среди пышных, густых, тучных, широко разросшихся кустов. Между кустами чернеют кое-где дикие порубленные пни, тянутся высокие неподвижные сосны, раскидывается берёзка с трепещущими говорливыми листочками, стоит вековой вяз с сочными, тучными, далеко раскидывающими ветвями, -- трава так гармонически шелестит под ногой, так весело-весело звенят хоры вольных, радостных птичек – что и самой, неведомо отчего, станет так хорошо, так радостно, -- но не резво-радостно, а как-то тихо, молчаливо, задумчиво... Осторожно пробираешься в чащу; и как будто кто зовёт туда, как будто кто манит, туда, где деревья чаще, гуще, синее, чернее, где кустарник мельчает и мрачнее становится лес, чернее и гуще пестрят гладкие пни деревьев, глее начинаются овраги, крутые, тёмные, заросшие лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями приходятся; и чем дальше идёшь, тем тише, темнее, беззвучнее становится. Сделается и жутко и страшно, кругом тишина мёртвая; сердце дрожит от какого-то тёмного чувства, а идёшь, всё идёшь дальше, осторожно, боязливо, тихо; и только и слышишь, как хрустит под ногами валежник, или шелестят засохшие листья, или тихий, отрывистый стук скачков белки с ветки на ветку... Резко напечатлелся в памяти моей этот лес, эти прогулки потихоньку, и эти ощущения – странная смесь удовольствия, детского любопытства и страха... (1; 443)

*Стр. 5.*

*После:* так веселы!.. – На гумнах запасено много-много хлеба; на солнце золотятся крытые соломой скирды, большие-большие; отрадно смотреть! И все спокойны, все радостны; всех господь благословил урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичок знает, что семья и дети его будут сыты; оттого по вечерам и не умолкают звонкие песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодушными слезами молятся в доме божием с праздник господень!.. (1; 449)

## Примечания (1; 467)

Личными впечатлениями Достоевского подсказаны не только «городские» эпизоды «Бедных людей». Не случайно героиня романа, как отметила В. С. Нечаева, носит имя сестры Достоевского Варвары Михайловны (1822 – 1893) и в её воспоминаниях всплывает образ няни Достоевских Алёны Фроловны (письмо Вареньки к Девушкину от 3 сентября). Отражение личных воспоминаний писателя присутствует и в описании характера отца Вареньки (напоминающего характер М. А. Достоевского). Деревенский пейзаж в дневнике Вареньки соответствует окрестностям села Дарового (Каширского уезда Тульской губернии), где в детстве писатель проводил летние месяцы в имении отца. Исследователями отмечалась также близость стиля и языка героев «Бедных людей» к стилю и языку писем родителей Достоевского, насыщенных уменьшительными формами и проявлениями сентиментальной чувствительности.<sup>1</sup> По предположению исследователя быта семьи родителей Достоевского и их московского окружения Г. А. Фёдорова, антагонизм между отцом Вареньки и Анной Фёдоровной воспроизводит реальные отношения между гордым и независимым М. А. Достоевским и сестрой его жены Александрой Фёдоровной Куманиной (1796 – 1871), в богатом купеческом доме которой воспитывались сёстры Достоевского Варвара, Вера и Александра, выданные ею замуж. Прототипом Быкова является, по-видимому, муж сестры писателя Варвары Михайловны и опекун молодых Достоевских после смерти отца П. А. Карепин (1796 – 1850) (см. *Чулков Г. Как работал Достоевский*. М., 1939. С. 27; *Достоевский Ф. М. Письма*: В IV т. Под ред. А. С. Долинина. М.; Л., 1928 – 1959. Т. IV. С. 448).

---

<sup>1</sup> См. об этом: В. Нечаева. 1) Из литературы о Достоевском. «Новый мир», 1926, № 3, стр. 129 – 130.; 2) В семье и усадьбе Достоевских. Соцэкгиз, М., 1939, стр. 28 – 29; М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. М., 1933, стр. 77.